

Александр Грин

# И для меня придет весна



# Александр Степанович Грин И для меня придет весна

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=314302](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=314302)*

## **Аннотация**

Пристрастие непобедимого прежде борца Фомы по прозвищу Сибиряк к коньяку превратило его в алкоголика...

# Содержание

1	4
2	6
3	8

# Александр Грин

## И для меня придет весна

### 1

Незаметно, но верно, коньяк – любимый напиток Фомы Сибиряка, чемпион Сибири, как его именовали афиши, сделал свое поганое дело. Человек первой физической силы, но бесхарактерный, Сибиряк усердно следовал внушениям завистливых приятелей, которые после каждой удачной борьбы доказывали ему, Сибиряку, непременно следует оросить свежие лавры в «Лиссабоне» – трактирчике, помещавшемся против цирка, и восьмипудовый Сибиряк слишком надеясь на свою выносливость и здоровье, шел почти каждый вечер пить.

Фома Сибиряк почти не знал соперников в борьбе. Приятели его знали соперников, и им было приятно видеть, как день за днем, усиливается у простодушного богатыря одышка, неровнее становится поступь и нервно блестят, когда-то спокойные, полные уверенности, добрые быстрые глаза.

Чувство удовольствия от каждой победы, одобрения публики и сознания своей силы было острее в хмельном состоянии, и Фома Сибиряк начал пить сам, самостоятельно. Он даже стал угощать товарищей, ради того, чтобы выслушива-

ли его похвалы самому себе. Наконец, и он не мог уже не заметить, что все труднее становится ему выстаивать против свежих борцов, что уже дрожит протянутая для мертвой хватки рука, слабеет сообразительность, мучает больная бессонница. И вот в один горький вечер, мясник с Подола, вызвавший Сибиряка бороться на поясах, бросил его через пять минут, утерся рукавом и сказал: – «Это нам нипочем!»

А еще через месяц после этого сибиряк пил запоем, с пьяными слезами и драками, с закладыванием вещей и ночевками под забором. И рассчитали его из чемпионата, и, уже не помня как, пешком ли, зайцем ли по железной дороге, или же этапом или всеми этими способами вместе, очутился он в Великом посту в рыночных трактирах прикамского города П., жалкий, пьяный и злой, босиком в армейских офицерских штанах, драной бумазейной рубашке и четырехугольной татарской шапке.

## 2

Сибиряк зажил той новой жизнью, которая вытекая из прежней его профессии настоящего запойного положения, сложилась сама собой. За пятак давал он бить себя по голому животу дровяным кругляком: возил, на потеху рыночной толпы, ухватившись за оглобли и ржа как лошадь, возы с мукой: ел на пари горячий хлеб по пяти фунтов и, чтобы не отравиться глотал после этого тараканов, разбивал ребром ладони кирпичи и т. д. Все это давало ему ночлежку, много водки мало еды и еще меньше денег.

\* \* \*

Стояла темная апрельская ночь. После пасхи в П. приехал цирк и расположился в деревянном строении на берегу речки. У запасных и простых выходов из цирка, как везде опускались к земле грубые деревянные лесенки, на которых располагались днем городские золоторотцы. Одни из них выпивали и закусывали, другие спали, как бродячие кошки, свернувшись калачом на узкой площадке лестницы. Сибиряк избегал подходить к цирку... Цирк тревожил его когда-то веселыми и приятными, а теперь большими воспоминаниями. Однажды, и он посидел на одной из лесенок, но зато к вечеру

напился, как зверь...

Тем не менее, в ту ночь, о которой идет речь, Сибиряк, спавший у дровяного склада, вдруг проснулся и, сидя на земле, долго тер рукой лоб, упорная мысль о цирке запала в его душу.

Ему приснился тоскливый сон, о котором он ничего не мог вспомнить кроме музыки, яркого как солнце, света и радостной тревоги заставившей биться его сердце так сильно, что он проснулся. Но, и проснувшись, продолжал испытывать он то же самое, щемящее сладкой грустью чувство тоскливо-радостной зовущей тревоги, родственной, быть может, тоске по родине. Рука его упав на колено коснулась, сквозь изношенную материю, голого, когда-то белого и холеного тела, и прикосновение это было ужасно. Но еще ужаснее было вспыхнувшее непреодолимое желание мучить себя, растравлять и умножать скорбь, и Сибиряк встал...

На соборной колокольне пробило десять часов. Безветренная, теплая ночь дышала огнем звезд. Сибиряк слышал, что сильнее и громче бьется пульс отогретой за эти дни весенней земли, что даже тело его, повинувшись неведомому закону чувствует себя более упругим и свежим, и кровь просит движения. И вспомнилась ему хорошенькая цирковая акробатка Соня, с которой, год тому назад, налаживалось у него что-то прочное, но, шаг за шагом, разбилось и погасло. И все это звало его к цирку – растравить раны, напиться и позабыть, в тяжком сне, прошлое.

### 3

Когда Сибиряк взобрался на крышу цирка, на ней лежали уже, распластавшись, как тюлени на льдине, бесплатные зрители. Из широких щелей крыши блестел свет, освещал носы и брови прильнувших к ним босяков. Сибиряк выбрал щель с выпавшим у края доски сучком, что делало отверстие довольно широким и посмотрел вниз.

Прямо под ним, в плывущих с низу вверх звуках вальса, раскачивалась на трапеции худощавая мускулистая брюнетка с покрасневшим от напряжения и волнения лицом. Лицо ее сверху не все было видно ему, однако, в изгибе плеч и шеи он нашел нечто показавшееся ему знакомым. Он не успел еще отдать себе отчет в этом, как акробатка, упав на палку трапеции согнутыми коленями и, продолжая раскачиваться поймала за руки подлетевшего к ней по воздуху товарища гимнаста и с веселым лицом бросила его в сетку, где мягко перекувыркнувшись, он стал на ноги и раскланялся.

– Соня, – закричал, узнав девушку, Сибиряк. Но он закричал не в щель и его никто не услышал. Тем временем, прыгнув и сама вниз, девушка удалилась. Сибиряк стукнул кулаком по крыше так, что жалобно задрезжал тес, сел и заплакал.

Речной разлив стягивался, но мостки перевоза стояли еще не на обычном месте, а выше по пологому берегу. У мостков, разводя пары, стоял пароход-перевозчик, типа среднего катера, переправлявший публику на заречный вокзал. На парходике сидела вторая партия циркового персонажа, отправлявшегося в Симбирск. Пронзительно закричал третий свисток, и матрос отнял причал.

– Ну, поехали, – сказал Гутман, хозяин труппы старому «рыжему» Армагди, – дай Бог еще в Симбирске так поработать.

В этот момент, задыхаясь от быстрого бега, вбежал на мостки человек огромного роста в поношенном, но приличном костюме.

– Стойте! – закричал он. – Верните пароход!.. Ради Бога!..

Лоцман пожал плечами. Корма поворачивающегося парходика находилась от мостков на расстоянии не меньше пяти аршин. Тогда, с быстротой щуки, огромный человек прыгнул в воду по грудь, ухватился за корму взмылившего от негодования, воду парходика, и дернул его назад. Винт беспомощно забурлил, а пассажиры бросились к корме, посмотреть на чудовище, которое, ухватившись левой рукой за мостки, держало правой парходик на месте.

– Господин Гутман – кричал Сибиряк, – идите к корме!

Я опоздал, я сегодня только узнал в цирке, что Вы уезжаете. Возьмите меня... Я пил раньше, но вот видите, бросил водку и уже заработал на заводе на костюм... только он теперь промок... Это ничего... Возьмите меня, чтобы спасти, ради Господа!..

Он продолжал держать белыми от напряжения пальцами прыгающую корму, и мостки, и сам он, и парходик тряслись, как в лихорадке.

Гутман наклонился к нему, щелкая от удивления языком.

– Кто такой? – спросил он. – Фома Сибиряк, чай слышали...

– Ой!.. Слышал... Полезай живо на борт.

Его ждала бесконечная радость: он увидел красивые, полные слез, глаза Сони, которые говорили ему что-то хорошее, что этот день стал лучшим в жизни Фомы Сибиряка.